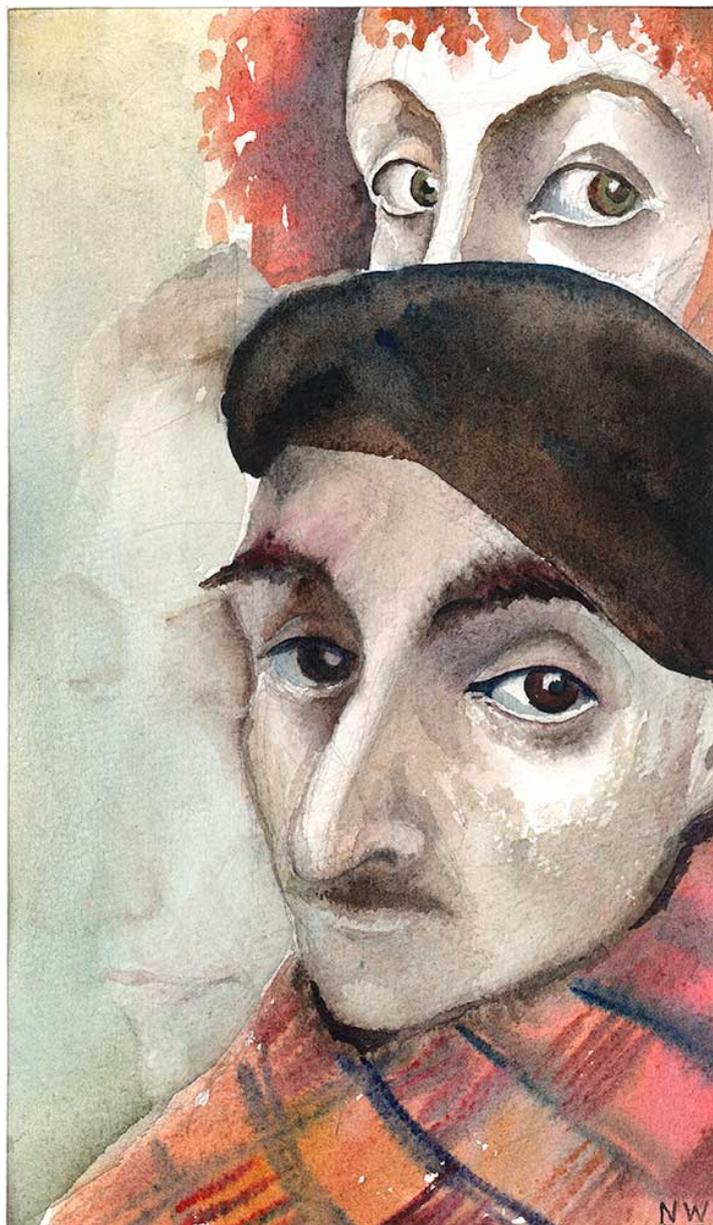


Нина Вержбинская-Рабинович

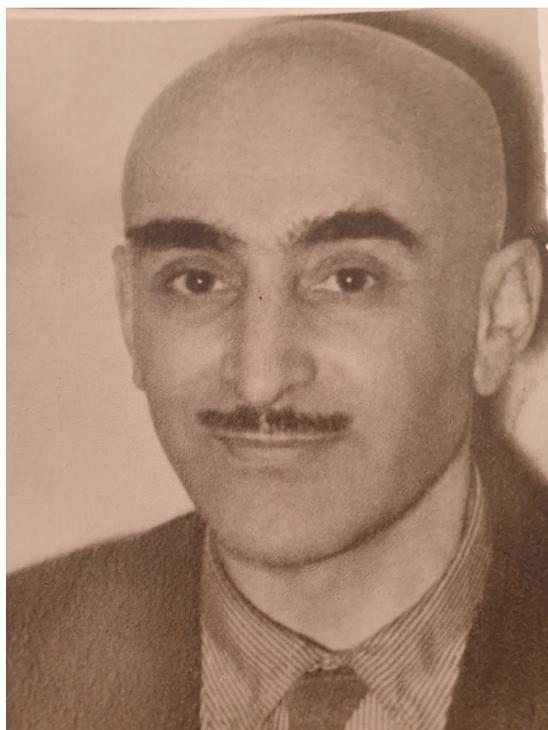
МОЙ ОТЕЦ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ ВЕРЖБИНСКИЙ



Нина Вержбинская-Рабинович

«Отец и дочь: 52 года»

Акварель, 1999



Мой отец Михаил Львович Вержбинский

Это попытка написать о моём отце, Михаиле Львовиче Вержбинском (1909–1962). Писать о нём мне труднее, чем о матери: отец умер, когда мне шёл 15-ый год, а с мамой мы не расставались 55 лет, с моего рождения и до её смерти... Брак для обоих моих родителей был вторым, у каждого было по сыну, оба старше меня на 10 лет. Поженились мои родители через год после окончания войны; я родилась в 1947 году. Пишу об этом в самом начале, чтобы объяснить, как недолго существовала семья втроем «мама-папа-дочь», хотя поняла я это только сейчас. Тогда мне казалось: 15 лет – это целая жизнь. В отличие от мамы, которая на мои расспросы всегда охотно и подробно отвечала (а я расспрашивала её с раннего возраста о её семье и о ней самой), таких разговоров с отцом я совершенно не помню. Так что о его семье и о событиях его жизни я узнала «из вторых рук»: от мамы, от родных. Тем не менее, попытаюсь нарисовать образ человека, столь для меня важного и так рано ушедшего из моей жизни.

Михаил Львович Вержбинский родился в Петербурге 3 ноября 1909 года. Он был старшим ребёнком в семье. Несмотря на то, что его родители были евреями, мой отец – петербуржец как минимум в третьем поколении. Законы царской России, запрещавшие евреям жить вне черты оседлости, делали исключение только для семей купцов первой гильдии и кантонистов – еврейских солдат, служивших десятки лет в царской армии. Каким-то образом произошло слияние этих двух исключений: кто-то из предков был николаевским солдатом, женившимся на дочери купца первой гильдии. Причем солдат этот умудрился не стать выкрестом, то есть остался в религии предков иудеем. Кажется, это было непросто. У моей бабушки, матери отца, висел маленький портрет маслом в духе Венецианова какой-то молоденькой девушки, почти девочки. Сейчас он находится в квартире моей двоюродной

сестры в Петербурге. Вот она-то и казалась мне купеческой дочкой, будущей женой николаевского солдата. Это был на самом деле портрет кого-то из нашей семьи; но совпадает ли моё впечатление с действительностью, я не уверена. Вспоминается такая подробность, которую я узнала от мамы, а не от отца. Моего деда при рождении назвали библейским именем Иуда, а для христиан это – имя предателя Иисуса. Когда он поступил в гимназию, его стали дразнить одноклассники. Тогда мои прадедушка и прабабушка пошли к раввину, и тот подобрал замену имени Иуда: Лев. Так мой отец стал Михаилом Львовичем. Семья была, как мне кажется, не особенно верующая.



Фото 1. Лев Вержбинский, мой дед



Фото 2. Миша Вержбинский в детстве

Квартира, где рос Миша, находилась на улице Чайковского почти на углу с Литейным проспектом. Одним кварталом дальше к Неве по Литейному в начале тридцатых годов был возведён так называемый Большой Дом, здание ОГПУ – НКВД – МГБ – ГУВД – КГБ – ФСБ, на месте сгоревшего в годы революции здания окружного суда (Большой Дом ещё сыграет эпизодическую роль в жизни моего отца, но об этом позже). В квартире этой сохранилась особенная, дореволюционная атмосфера, которую я в детстве, не разбираясь ещё в истории страны, тем не менее ощущала. Хотя она была в моё время, в пятидесятые годы, коммунальной, как и почти все квартиры в старых петербургских домах, но в отличие от коммуналки, где с самого рождения вплоть до эмиграции в 1977 году жила я, жили там всего три семьи (а в нашей «вороньей слободке» – девять, «поголовье» в лучшие времена достигало тридцати человек!). И эти три семьи мирно уживались – не то что у нас в квартире. Старинная мебель Chippendale, какие-то вазы, рояль, кровать с витыми колонками в изголовье, мною обожаемая вычурная люстра, бронзовая лампа в виде рудокопа, несущего фонарь, резные шкафы и даже деревянный резной диван – по совместительству сундук в самом деле эпохи ренессанса. Его брали на съёмки фильма «Двенадцатая ночь» студии Ленфильм и даже отреставрировали, доделали один из подлокотников, пущенный на дрова во время блокады Ленинграда; такая же судьба постигла и ручку одного из кресел Chippendale. Я всегда считала, что это жилище с самого начала было квартирой семьи моего отца, а после революции проведено было «уплотнение» и въехали другие жильцы, и только

совсем недавно узнала, что это не так. На самом деле в 1917 году какие-то богатые дальние родственники родителей отца решили на время уехать за границу и пересидеть там беспокойный период, а когда всё уладится, вернуться. Семье молодого химика, выпускника университета Льва Вержбинского с женой Аделаидой и – к тому времени – уже с тремя детьми было предложено пока что пожить в квартире и проследить, чтобы ничего в ней не пострадало. Но не рассчитали богатые родственники! Спокойные времена так и не пришли, вернуться в Петроград (Ленинград–Петербург) им было не суждено, а Вержбинские ещё долго-долго, вплоть до начала девяностых годов, жили в разном составе сначала во всей квартире, после уплотнения – в двух комнатах, а потом, когда часть семьи переехала в кооперативную квартиру на Поклонной горе, в одной комнате. И вся эта импозантная обстановка была так же, как и квартира, вверена им на хранение. Признаюсь, это меня несколько разочаровало: я с детства находила многое в этой семье, быте, привычках почти аристократическим, мебель тому способствовала, а тут – такое разоблачение...



Фото 3. Баба Адя до революции

Про дедушку я не знаю почти ничего, он умер рано, ещё до второй мировой войны, кажется, от болезни сердца, и о нём как-то редко говорили. Баба Адя (Аделаида, в девичестве Лейбович), напротив, прожила долгую по тем временам жизнь, прошла и тяжёлые послереволюционные годы, и сталинский террор с ежедневными и еженощными страхами ареста, эвакуацию, и возвращение в Ленинград после снятия блокады. Она никогда не служила, но трудилась всю жизнь для семьи, вырастила, кроме своих троих детей, ещё и двоих внуков, дочь моей тётки Али и моего единокровного брата – сына Михаила Львовича от первого брака. Муж тётки Нины, младшей из дочерей, через год после свадьбы ушел на фронт и погиб в боях под Ленинградом в 1944 году. Нина, младшая сестра моего отца, так и прожила в семье матери и старшей сестры Али вдовой. Баба Адя вела, и на высоком уровне, общее хозяйство: ведь все остальные – зять, обе дочери и сын – конечно, были постоянно заняты; время было советское, и женщины, само собой разумеется, наравне с мужчинами

получали образование и работали по специальности. Тётя Нина была архитектором, тётя Аля, как и её муж дядя Вася, инженером, а мой отец – математиком. А в молодости баба Адя пела, у неё был поставленный оперный голос, низкий и красивый. Я слышала от папы, что, купая детей, она часто пела арию Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». И я неизменно вспоминаю об этом, когда слышу эту завораживающую мелодию.



Фото 4. Тётя Аля



Фото 5. Тётя Нина

Тётя Аля и тётя Нина были обе красивые и обе рыжие с карими глазами, у меня одно время висела репродукция картины Ренуара «Девушки в чёрном» – просто вылитые мои тётки. Папа же был брюнет с внешностью, по выражению одной моей подруги, «вавилонских евреев»: большие выразительные глаза, густые брови и большой, даже очень большой нос. Бог нас, женщин в семье, миловал, и ни у его сестёр, ни у меня такого носа не было. Во время и после войны он радикально решил проблему лысины, которая у него стала заметна рано, и регулярно брил голову, уравновешивая отсутствие волос на голове очень густыми бровями и щёткой усов. Таким я его и помню, а на довоенных фотографиях даже не узнаю: полный молодой человек с кудрявыми волосами. Факт бритья Михаилом Львовичем головы удачно сказался на моей биографии: получив его фотографию с фронта, моя мама (они с отцом познакомились незадолго до войны и близких отношений тогда и в помине не было) была приятно удивлена как изменениям в его внешности, так и общим мужественным обликом моего будущего отца. Об этом я знаю от неё самой.

Вернёмся к первым годам после окончания гражданской войны. Папа и тётя Аля учились в расположенном по соседству на Моховой улице (и к тому времени уже переименованном в трудовую школу № 15) Тенишевском училище, замечательном учебном заведении, которое закончил Владимир Набоков, а незадолго до него – Осип Мандельштам. Переименование переименованием, но преподаватели там были прежние. Тётя Нина туда уже не попала, она

училась где-то в другом месте. Со слов папы, ему однажды удалось, не прочитав роман Гончарова «Обломов», участвовать в классе в обсуждении книги, спорить с другими учениками и даже излагать свою весьма оригинальную точку зрения на роман. Интересно, что это, видимо, передалось мне генетическим путём: я тоже в девятом или десятом классе школы должна была по программе прочесть эту книгу и ... так и не сделала это. Написала какое-то бездарное сочинение из общих мест, получила проходной балл и – по прошествии лет тридцати – к моему счастью, всё-таки прочла этот замечательный роман и оценила его по достоинству. Думаю, что атмосфера глубокого сна тела и души, мастерски описанная в начале книги, вводила в сон и меня.

По рассказам мамы, во времена НЭПа (См. примечание*) у папиной семьи была частная собственность: буксир под названием «Трудовик» и магазин, кажется, посудный. И тут мой папа показал верное политическое чутьё и правильное понимание ситуации: он был категорически против сохранения частной собственности семьёй. Когда в скором времени НЭП закончился, Вержбинские уже расстались и с магазином, и с буксиром «Трудовик». Я думаю, что это спасло семью от возможных преследований в поздние двадцатые годы.

В начале 30-х годов всё же Михаилу пришлось побывать в здании по соседству, в так называемом Большом Доме, и провести там месяц в предварительном заключении. Он в студенческие годы подрабатывал как репетитор по математике детям в семье, где всех посадили, и органы проверяли каждого, кто часто бывал в их доме. Но у папы предметом общения были только уравнения и, к счастью, его выпустили, повезло.

Учился мой отец, как и мой дед, в университете: первый год на отделении астрономии, а потом перешёл на математический факультет. И выбрал себе самую абстрактную, не имеющую очевидного приложения область: теорию чисел. В моём представлении это нечто наиболее отдалённое от естественных наук и наиболее близкое к философии. Отношение к науке у него было благоговейное, сродни любви к музыке. Он и работал дома за своим огромным письменным столом всегда под долгоиграющие пластинки классической музыки, на первом месте был И. С. Бах, потом уже шли Бетховен и Шостакович. Эта картина у меня и сейчас перед глазами: в комнате родителей полутемно, горит настольная лампа (дневного света, папа любил новинки техники), папин профиль – над рукописью, и звучит музыка Баха.

К кругу его друзей той поры относились будущий академик и ректор Ленинградского университета Александр Данилович Александров и будущий декан химического факультета Андрей Николаевич Мурин – а тогда все трое были студентами и аспирантами. Важнейшую роль в моей биографии сыграл последний, Андрей Мурин. Он был на два года старше моей матери Элеоноры Гомберг, учился с ней в одном классе, они дружили – и именно Андрей познакомил моих родителей перед войной. По рассказам мамы, они с трёхлетними детьми (у них даже дни рождения в одном месяце), папиным сыном Глебом и маминым сыном Алексеем, пошли гулять в Адмиралтейский сад (теперь он называется Александровским). И тогда никто не подозревал, как пойдёт развитие событий лет через шесть-семь. Михаил Львович был уже в разводе с матерью Глеба; брак был очень недолгим, и его жена Роза вскоре после рождения ребёнка ушла из квартиры на улице Чайковского, оставив маленького сына на попечение свекрови и золовок. Через какое-то время она забрала Глеба к себе, но на протяжении всего его детства (и после войны тоже) он очень часто бывал у бабы Ади и тётки Али и Нины, ежедневно после школы приходил в дом на улице Чайковского. Там же выросла, на год его младше, дочь тётки Али и дяди Васи Танечка – первое время бабушке приходилось растить двоих маленьких детей-погодков, ведь родители были весь день на работе.



Фото 6. Глеб на руках у тёти Нины на улице Чайковского

Через год после этой памятной встречи моих родителей – и моих старших братьев – грянула война. Отец к тому времени защитил кандидатскую диссертацию и имел бронь от армии на этом основании, но он в первые же дни после объявления войны пошёл добровольцем на фронт, с огромной скоростью приближавшийся к Ленинграду. Перед уходом на фронт все трое мужчин семьи с улицы Чайковского – Михаил Вержбинский, Василий Скраган, муж тёти Али, и Иосиф Карнибад, муж тёти Нины – сложили свою гражданскую одежду в сундук. Не тот итальянский ренессансный диван-сундук, а в обычный... и что же обнаружилось в том сундуке после возвращения семьи из эвакуации? Матросская форма и чужие носки, никаких следов гражданской одежды трёх мужчин! В квартире менялись временные жители, за нехваткой дров топили мебелью Chippendale. А стол из того же гарнитура после зимовки при выбитых от бомбёжек стёклах окон навсегда искорежился, но стоит так же, как и сто лет назад и за ним принимает гостей моя кухня Таня уже на Фурштатской улице, а не на Чайковского. И мне он этим ещё милее, чем если бы он был как новенький: как лицо родного человека, изборождённое морщинами, но всё равно любимое. Венецианская люстра в виде лотоса тоже пострадала за годы блокады: раскололся один её лепесток и был как-то закреплён в послевоенные годы. Она неразлучна с тем самым столом и на Фурштатской. Все женщины и дети семьи с улицы Чайковского, к счастью, успели уехать в эвакуацию, где им предстояло пробыть более трёх лет в тяжёлых условиях, не сравнимых, однако, с ужасами жизни (или смерти) в блокадном Ленинграде. Обе мои тёти, баба Адя и маленькая Таня оказались в городе Акмолинске в Казахстане, а четырёхлетний Глеб был отправлен с детским садом в эвакуацию без его матери Розы, которая должна была остаться при заводе, где работала инженером. Причём поезд с детьми, в котором везли Глеба, был обстрелян вражескими самолётами – так быстро шло наступление фашистов, и маршруты эвакуации могли оказаться роковыми. Он помнит, как всех детей вывели из остановившегося состава и велели им лечь на рельсы под вагоны. Мой отец, пройдя срочный курс переподготовки из математика в артиллериста, стал командиром зенитной батареи на Пулковских высотах под Ленинградом, стрелял по самолётам немцев, летящим бомбить город. Со слов моего брата по матери Алексея я совсем недавно узнала, что пост этот Михаил Львович получил не только благодаря своим математическим знаниям, но и его необычайно художественному свисту: у отца был

прекрасный музыкальный слух, он мог точно насвистывать длинные мелодии из классической музыки. Это было отмечено каким-то профессиональным военным, тоже меломаном. Он выделил отца из других новобранцев, узнал, что тот по профессии – математик, и так папа стал командиром батареи ПВО. Сохранился замечательный документ – письмо, написанное отцом в августе 1941 года друзьям в тогда ещё не осаждённый Ленинград с просьбой прислать ему книгу по внешней баллистике:

7/VIII 41 Дорогая Оля!

Это письмо совершенно деловое. У меня большая просьба к тебе: пришли пожалуйста посылкой какую-нибудь книгу по внешней баллистике. Только что-нибудь серьёзное с подробным математическим аппаратом и может быть и таблицами. Дело в том, что возникла у меня одна идея, хочется осуществить её. В книге этой должен изучаться вопрос о полёте снаряда в воздушной среде в матем. смысле это дифф. уравнения. Это очень важно. Заранее благодарен. Заодно попроси тётю Юлю прислать конфет (если есть шоколаду в плитках) и мыла туалетного. Неплохо бумаги писчей (лучше гладкой).

[приписка на полях: Это необязательно.]

Получил от Руфы и Тамары письма. Брат Руфы - Оська ранен, надеется легко, но в плечо, а он ведь художник.

Ещё раз прошу прислать Глебочкин адрес. Всего хорошего. Привет Лидии Яковлевне, Жозефине, Боре и т.д.

Миша

Этот и ещё несколько листков военно-полевой почты вместе с рисунком с натуры «Убитый солдат» хранятся теперь в архиве нашей семьи в библиотеке университета Нотр Дам в Индиане.(См. примечание**)

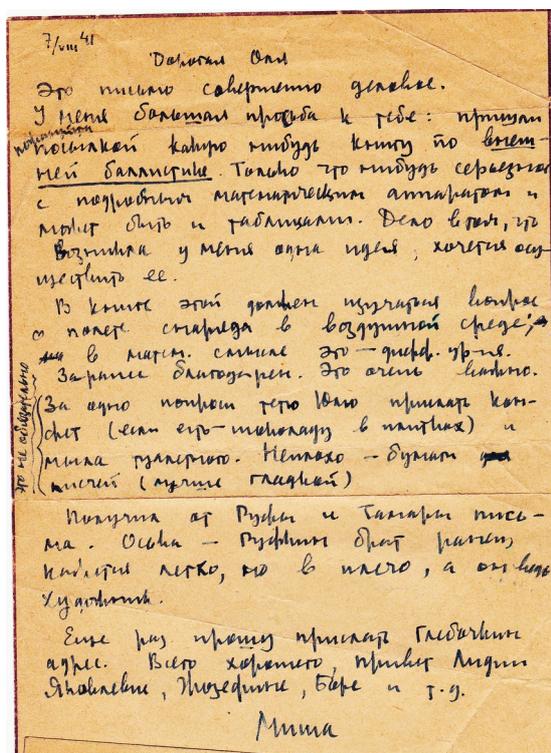


Фото 7. Письмо с фронта



Фото 8. Отец на фронте



Фото 9. Убитый солдат

Отец был награждён орденом Красной звезды, который хранился в его письменном столе, и я любила его рассматривать. Лучи звезды были моего любимого густо-красного, рубинового цвета, а военный с ружьем на серебряном круге в её центре казался мне человеком на Луне. При выезде из СССР в 1977 году взять орден с собой нам не разрешили, и где он сейчас находится, я не знаю.

Текст наградного списка с сайта «Подвиг народа»:

Вержбинский Михаил Львович 1909 г.р.

Звание: мл. лейтенант

в РККА с 1941 года Место призыва: Куйбышевский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Куйбышевский р-н

Место службы: 1486 пап 1 Уд. А 3 ПрибФ

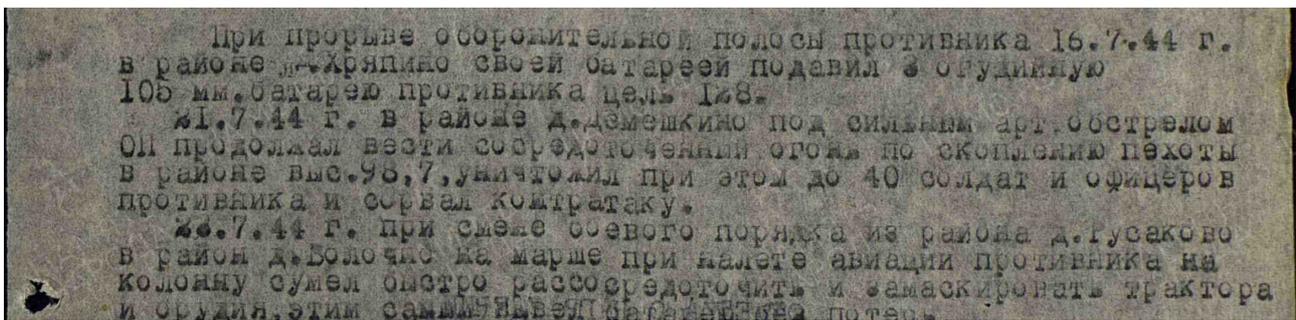
Дата подвига: 16.07.1944, 21.07.1944, 23.07.1944

№ записи: 35734598 Архивные документы о данном награждении

I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему

Орден Красной Звезды





«При прорыве оборонительной полосы противника 16.7.44 г. в районе д. Хряпино своей батареей подавил 3 орудийную 105 мм. батарею противника цель 128.

21.7.44 г. в районе д. Демешкино под сильным арт. обстрелом он продолжал вести сосредоточенный огонь по скоплению пехоты в районе выс. 98,7, уничтожил при этом до 40 солдат и офицеров противника и сорвал контратаку.

23.7.44 г. при смене боевого порядка из района д. Русаково в район д. Волочно на марше при налёте авиации противника на колонну сумел быстро рассредоточить и замаскировать трактора и орудия. Этим самым вывел батарею без потерь.»

О войне папа мне рассказывал немного, но, пожалуй, больше, чем о чём-либо другом из своей жизни. Из его рассказов я знаю, что окопы немцев были так близко к их окопам, что по ночам, если не шла стрельба и было тихо, он и его солдаты слышали немецкую речь... У него как офицера был денщик, сталинское копирование порядков царской армии. Этот денщик чистил ему сапоги, шинель и вообще был как бы личным слугой. Мне, насквозь пропитанной классовой пропагандой против времён «кошмарного царизма» (любимое шуточное выражение моего отца), было несколько странно это слышать: мой папа – как барин какой-то, нехорошо. Когда я, очень боявшаяся физической боли, спросила его, зачем она вообще есть, боль, папа мне наглядно объяснил на примере из своей военной жизни: «Вот я один раз заснул у костра ногами к огню. Загорелись сапоги, а я сплю себе дальше, пока ногам не стало жарко и больно. Если бы боли не было, я бы проснулся без ног». Меня это убедило, что без боли не обойтись. Покрывало, сшитое после войны из папиной офицерской шинели, сопровождает меня всю жизнь. Оно и сейчас, в венской квартире, напоминает об истории с подгоревшими у костра сапогами.

И ещё: у отца из-за его службы в артиллерийском расчёте испортился слух. Я заметила это, когда мы были в Крыму, в Алушке: он не слышал цикад, и это было так странно! Однако слабость слуха отцу никак не мешала воспринимать такую важную для него музыку.

На этой горячей точке, Пулковских высотах, он провел все годы блокады Ленинграда. А в последние месяцы его часть перебросили в Латвию – и оттуда он был демобилизован. Таня, моя двоюродная сестра, вспоминает, как он первый раз приехал в квартиру на улице Чайковского ещё до демобилизации (семья уже вернулась из эвакуации в Ленинград) с солдатами из штрафного батальона. Мой отец должен был их куда-то доставить, а ночевать им было негде. Они спали несколько ночей на кухне и, по воспоминаниям Тани, кололи дрова.

Теперь начинается та часть рассказа, когда в жизнь моего отца вхожу я, или лучше было бы сказать, когда ОН входит в мою жизнь, и можно вспоминать не только факты, дошедшие до меня от третьих лиц, но и личные впечатления из проведённых вместе недолгих лет.

Каждый из моих родителей оказался после войны в ситуации, которую никак нельзя было назвать счастливым, крепким браком.

Мама вернулась из Алма-Аты, где она с сыном и своей матерью провела три с половиной года. В эвакуации мама воссоединилась с отцом своего ребёнка Семёном Михайловичем (как его звали друзья, а по паспорту – Хайрулой Хабебуловичем) Махмудовым. Выпускник факультета лингвистики ЛГУ, он был незадолго до войны послан по распределению как молодой специалист работать в Казахский государственный университет. Впоследствии он стал крупным лингвистом и до выхода на пенсию заведовал кафедрой русской лингвистики в Казахском национальном университете, а в 2010 году лингвистическому кружку университета было присвоено имя профессора Х. Х. Махмудова. Планировалось, что по истечении пары лет Махмудов вернётся в Ленинград к жене и ребёнку и будет искать работу в Ленинграде. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает: началась война и вместо возвращения мужа и отца к семье жена и ребёнок бежали перед закрытием кольца блокады из Ленинграда в Алма-Ату. Добирались туда два месяца с огромными трудностями, но добрались. Ранней весной 1942 года, после первой блокадной зимы, по льду Ладожского озера (Дорога жизни) из Ленинграда спаслась мамина мама, моя бабушка Мария Семёновна (она при рождении была названа Мириам Бэлла, но в паспорте стояла «русская версия») и тоже оказалась в Алма-Ате. Туда же попал ещё один родственник, «названный дядя» Иван Михеевич Чекулаев, которого в семье называли дядя Ваня, и никогда потом уже с семьёй не расстававшийся. Приехал инвалидом после короткой и кровопролитной Финской войны, контузия, ранение в голову, о нём будет ниже. И вот все эти пятеро живут в общежитии для студентов, преподавателей и их семей сначала в одной, потом в двух комнатах. Первый брак мамы был, прямо скажем, нестандартным. Семён – из татарской деревни, его мать даже не говорила по-русски, очень талантливый, но трудный человек с большими проблемами по части алкоголя. Моя мама, получившая два образования: музыкальное училище по классу рояля и ЛГУ по специальности русская литература. Трения были с самого начала, а в условиях жизни бок о бок большой семьёй в общежитии, с потерями военного времени, которые ещё как чувствовались и в глубоком тылу – отношения всё больше и больше расшатывались. Как только блокада Ленинграда была снята и стало возможным, хоть и с трудом, вернуться в город, моя мать немедленно поехала туда, оставив сына, свою мать, дядю Ваню и мужа Семёна Махмудова в Алма-Ате, чтобы восстановиться на прежнюю преподавательскую должность в ЛГУ и получить обратно свою комнату, в которой уже жили люди из разбомбленных домов. Её мать, маленький сын и дядя Ваня вернулись в Ленинград через пару месяцев, а Семён Махмудов не вернулся. По словам моей мамы, Элеоноры, она никак не расценивала свой отъезд из Алма-Аты как конец брака с Махмудовым, хотя отношения были уже далеко не такими, как в предвоенные годы. Через какое-то время ей написали друзья, что у Махмудова появилась подруга и она ждёт ребёнка. От самого же Семёна мама не получила никакого сообщения, и он после официального расторжения отношений первые годы уклонялся от уплаты алиментов. Во всяком случае, мама оказалась свободной от брачных уз в её тогдашние 32 года.

У Михаила Львовича личная жизнь после войны складывалась так: расстались они с матерью моего единокровного брата Глеба в 1938 году, когда ребёнку было менее года. Я узнала сравнительно поздно от мамы, что у папы после расставания с первой женой была любовь, её звали Лиля, и она, пережив первые месяцы блокады Ленинграда, выехала по Дороге жизни, но умерла от истощения на пути в тыл. В коротком письме с фронта хорошей знакомой Ольге Рыбаковой в нескольких словах пишет мой отец об этом трагическом известии, дошедшим до него спустя месяцы неизвестности: *«22/VI 42 Дорогая Оля! Восемнадцатого числа получил письмо Бориса, датированное 27 мая. Он сообщает о смерти Лили Лурье и её родителей. Этому уже три месяца. Они доехали только до*

Кирова. Мои дела по-прежнему. Настроение неважное, что впрочем вполне естественно... ».

Как я уже говорила, во время войны мои будущие родители пару раз писали друг другу (помните - мужественное фото папы, произведшее впечатление на маму?), и вот они оба и их семьи оказываются снова в родном Ленинграде. Соломенная вдова и соломенный вдовец. Папа, однако, как настоящий джентльмен, встретился с Розой, своей первой женой и матерью Глеба, и предложил ей попробовать начать новую жизнь. После войны с её ужасами, потерями и потрясениями казалось, что можно склеить разбитое прошлое. Роза отказалась. Как я знаю теперь, был в её жизни некий Лёня (кроме имени, ничего о нём не знаю). Роза надеялась на его серьёзные намерения и поэтому сказала моему отцу «нет». Она так и осталась до конца жизни одна. А папа с лёгким сердцем отправился к моей маме, Норе, и был принят. И таким образом мне было выдано право на жизнь, ведь будь я дочь кого-то другого, это была бы совсем не я! На самом деле мне никто не рассказывал, как происходило сближение моих родителей со дня их знакомства за год или два до войны и после возвращения в Ленинград в 1945, но несомненно это был какой-то процесс, о котором я уже никогда не узнаю. Мама рассказывала мне только о фотографии отца с фронта и впечатлении, которое она на неё произвела, более – никаких подробностей.

Отец поменял комнату, выделенную ему от города, и переехал на Васильевский остров в коммунальную квартиру, где до войны жила мама с моим маленьким тогда братом и куда ей удалось вернуться. Туда же, в нашу «воронью слободку», переехала бабушка с неизменным дядей Ваней. Мы были «привилегированные» – у нас на шесть человек (когда родилась я) было целых три большие комнаты, тогда как некоторые семьи жили в одной впятером. Один туалет (годы спустя их стало два), одна ванная и огромная кухня, до которой от наших комнат надо было идти на другой конец квартиры пятьдесят шагов... Для папы район оказался удачным: он преподавал в Горном институте на Васильевском острове, а наш дом находился на углу Большого проспекта и 4-ой линии. Мама ходила на работу в ЛГУ на исторический факультет по набережной от сфинксов налево, а папа по набережной направо, когда они не пользовались общественным транспортом. Хозяйством и – во многом – присмотром за детьми занимались моя бабушка и дядя Ваня: родители очень много работали как преподаватели и как учёные; работа в университете и Горном институте предполагала и исследования, публикации. Были у нас с братом няни, девушки из деревни, приезжавшие в город, чтобы вырваться из колхозов. Условия работы там были невыносимые, колхозникам не давали паспортов, чтобы они не разбежались. Способом сбежать, получив паспорт, была для деревенских парней армия (три года солдатом или пять лет матросом), а для девушек возраста до получения паспорта – стать домработницами. Няни-домработницы и жили тоже с нами, в перегородженной шкафом детской комнате. Я помню трёх из них: Марусю, она была немолода; Люсю, совсем юную, она кончала вечернюю школу, живя у нас, и мама помогала ей делать уроки, и Тоню. Тоня была последней из нянь, мне было около девяти лет, когда она, ничего никому не сказав, вдруг пропала. А через полгода к нам приходили милиционеры и расспрашивали про Тоню – она оказалась в воровской банде, и их всех арестовали. Тоня вошла в фольклор семьи со своей любимой фразой: «Я девушка чэстная!».

Родители жили в одной из наших трёх комнат. Их так называемая «большая комната» служила кабинетом обоим, библиотекой и спальней по совместительству, а когда к нам приходили гости, то и гостиной. Это была очень красивая комната с открытым камином и высокой кафельной голландской печью, с эркером в четыре окна. Натопить её в тогда ещё

суровые ленинградские зимы (температура каждый год падала до минус 20 градусов Цельсия, а то и ниже) было практически невозможно. Помню, как, пока не провели центральное отопление в начале 60-ых годов, мама в шерстяных перчатках играла на рояле Шопена. Этот рояль фирмы Бехштейн, купленный для моей мамы бабушкой, был перевезён в Петроград ещё в 1923 из Елисаветграда (до 1924 года — Елисаветград, до 1934 года — Зиновьевск, до 1939 года — Кирово, до 2016 года — Кировоград). Папа тоже играл на рояле почти каждый день, но я его в перчатках не помню.

Пишу об этом, чтобы дать представление о жизни нашей семьи, моего отца в послевоенные годы, о бытовой её стороне. Ещё одно обстоятельство, кроме «прелестей» коммуналки, изрядно отравляло атмосферу. После короткой эйфории по отношению к новому зятю моя бабушка и дядя Ваня (особенно последний) возненавидели моего отца Михаила Львовича. Отличительной чертой бабушки было то, что сначала ей всё новое очень нравилось, будь то дача, на которую нас вывозили родители на всё лето (мы снимали под Ленинградом комнату или две и почти каждое лето в другом месте, если родители приезжали в отпуск, то они спали в машине) или же новая домработница. Вскоре она видела во всём новом только отрицательное. А для дяди Вани Михаил Львович был «барином», поскольку не имел к домашнему хозяйству никакого отношения, тогда как дядя Ваня вкалывал — насколько ему позволяло здоровье после ранения. А так как дядя Ваня впадал ежемесячно в кратковременный запой — в день получения пенсии пропивал все деньги, но к доверенным ему на хозяйство не прикасался — в эти дни его чувства к папе вырывались в скандалах, подобных извержению вулкана. И только когда меня, шестилетнюю или семилетнюю, стали мучить по ночам сны, в которых папа выступал в роли сообщника фашистов, указывающего, куда лететь вражеским самолётам бомбить «наших», — только тогда дяде Ване запретили в моём присутствии вести пропаганду против моего отца.



Фото 10. Отец со мной на Финском заливе, 1954 г.

Несмотря на описанное выше, очень многое в жизни родителей было гармонично. У них были общие интересы, прекрасные друзья, которые регулярно собирались у нас за столом в

«гостиной+библиотеке+рабочем кабинете+спальне». Среди друзей моих родителей назову Соломона Григорьевича Михлина, замечательного математика, Михаила Шлёмовича Бирмана, «Мишулю» – знакомство из математического кружка Дома пионеров, который до войны вёл мой отец, а Бирман посещал кружок школьником. Бирман стал впоследствии научным руководителем сына Михаила Львовича, моего брата Глеба. Частыми гостями были у нас Георгий Михайлович Фридендер, литературовед, сотрудник Пушкинского дома, Лаура Александровна Виролайнен, литературовед и литературная переводчица с финского языка, её гражданский муж Наум Яковлевич Берковский, крупнейший литературовед, литературный и театральный критик, и многие другие. Особенно близки мы были с Ревеккой Лазаревной Златогорской (она же Бекки, Рива или Злата), замечательной женщиной, педагогом и методистом немецкого языка. Не имея ни мужа, ни детей, она всегда была окружена друзьями и бывшими её учениками всех поколений. Всю жизнь с ней поддерживали связь бывшие питомцы детского дома, которых она, молодая учительница, вывезла перед самой блокадой из Ленинграда и воспитывала в тылу три года. К кругу друзей Ревекки Лазаревны относились бывшие её школьники. В последующие годы она стала преподавать в Педагогическом институте им. Герцена, и бывшие студенты оставались её близкими друзьями до самой смерти Ревекки Лазаревны (она дожила до 94 лет). Последним местом работы Ревекки Лазаревны было преподавание (позже – должность консультанта) в Институте усовершенствования учителей, и оттуда появились новые друзья из среды её слушателей.



Фото 11. Слева направо: Бекки, Миша и Нора, 1960 г.

Родители были настоящими меломанами, по сегодняшнему выражению «фанатами» классической музыки; посещение филармонии было для них как церковная служба для прихожан. Ночами выстаивали они очереди, чтобы отметить несколько раз в списках на особенно желаемые концерты и через месяцы купить билеты в кассе. Мама ничего не понимала в папиной специальности, в математике была по её выражению «кретинкой» даже в рамках школьной программы (к сожалению, это передалось обеим моим дочерям, минуя меня). Зато папа преданно любил изобразительное искусство, мамину область, и сам много рисовал как любитель. Его спецификой были пейзажи акварелью и прекрасные карикатуры, часто на музыкантов и музыковедов, известных по концертам в филармонии.

Ещё одна страсть появилась у Михаила Львовича после войны, тут он и его зять, муж тётки Али и отец Тани Василий Александрович Скраган, полностью совпадали. Они оба стали

страстными автомобилистами. С начала пятидесятых годов и до своей смерти отец сменил три машины. Первой была Эмка – советский довоенный легковой автомобиль массового выпуска – Газ М1. Эмку вытащили из Обводного канала, пересказываю миф, слышанный в детстве. Эту машину я скорее всего никогда не видела: папе было запрещено возить на ней детей, такая она была ненадёжная. Вскоре её сменил Москвич, старая модель, и эту машину я хорошо помню. На ней мы ездили к бабе Аде на улицу Чайковского, на все наши ежегодно сменявшиеся летние дачи, в летние путешествия. Помню первое путешествие на машине «за границу» – в Латвию, куда-то под Ригу. Мама в дороге читала папе книги, чтобы его не клонило в сон, он её называл «моя радиорубка». В той модели москвича радио не было. Позже старую модель сменил новый Москвич. Папа машину обожал и проводил в ней и с ней много времени. Помню такие эпизоды: семьёй выезжаем в лес. Все идут искать грибы и собирать ягоды, а папа остаётся в машине и говорит, что лучше он почитает. Мы приходим через пару часов – папины ноги торчат из-под машины! Ковыряется в ней, проверяет что-то, чинит.



Фото 12. Отец с товарищем около Эмки

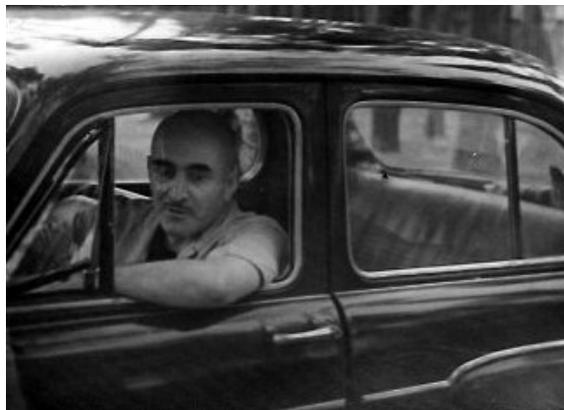


Фото 13. Отец за рулём



Фото 14. Отец у Москвича

Родители без нас, детей, совершали с друзьями небольшие путешествия на машине по Золотому кольцу, ездили в Киев и так далее. О заграничных поездках тогда речи не было. В

индивидуальном порядке вообще было немыслимо поехать не только на Запад, но и в страны восточного блока. Путёвки в туристические группы выдавались как дефицит и надо было пройти всевозможные комиссии и проверки на благонадёжность, как будто речь шла о разведывательной миссии во вражескую страну, а не о поездке на десять дней в Польшу или Чехословакию. Таким образом, Михаил Львович ни разу в жизни не выезжал из Советского Союза. Задолго до эмиграции, но уже после смерти папы мы с мамой были один раз в ГДР по приглашению друзей. Это была первая поездка мамы за границу, ей было 56 лет. Сначала мы получили отказ в ОВИРе, мама подала на пересмотр, и в конце концов пришло разрешение. За год до эмиграции мы с мужем ездили в ГДР к тем же друзьям, мужу было 39 лет, и это тоже была его первая поездка за границу.

Тут я хотела бы перейти к «благонадёжности» моего отца в свете идеологии сталинской и послесталинской эпохи. На фронте Михаил Львович вступил в партию. Советским людям не надо объяснять в какую – в КПСС, других партий в СССР не было, в отличие от существовавших хотя бы для приличия близнецов-партий в странах «народной демократии». Было ли обязательным для офицеров на фронте вступать в ряды КПСС, или у отца в приливе патриотизма и ненависти к фашистским захватчикам появилась такая потребность, сказать не могу. Фактом остаётся, что это не принесло ему никакой выгоды, скорее наоборот. Отец «заработал» выговор с занесением в личное дело именно потому, что состоял в партии. (См. примечание ***)

Я хорошо помню день смерти Сталина. После нескольких дней трансляции по радио траурной музыки «Гибели богов» Вагнера, перемежающейся короткими сводками о состоянии здоровья больного вождя, наконец было объявлено, что Сталин умер. Семья наша, как и многие другие, не питавшая ни любви, ни уважения к «отцу народов», вначале не только не радовалась тому, но все были в большой тревоге, что за этим последует. Не будет ли ещё хуже, не придёт ли к власти Лаврентий Берия, которого боялись ещё больше, чем Сталина. Моя бабушка рыдала с утра, ей-то, двоюродной сестре Г. Зиновьева, чудом в своё время избежавшей ссылки, как было не знать об особенностях советской истории. Дядя Ваня сумрачно молчал — будучи по духу своему коммунистом (хотя сам из партии задолго до войны вышел), самого Сталина ненавидел. Мама, к которой я от бабушки и дяди Вани побежала сообщать последнюю новость, молча обняла меня, взяла под крылья как птица птенца. Вечером мы поехали с папой и мамой на улицу Чайковского к бабе Аде и тётям. Взрослые вели какие-то непонятные разговоры с тревожными выражениями лиц, а я решила блеснуть только что сочинённым мною стихотворением. Оно состояло из обрывков фраз, услышанных по радио, я помню первую, вторую и четвёртую строчки:

«Перестало биться сердце
Нашего вождя,
Но та-та-та-та-та-та-та
Будет жить всегда!»

И – вместо похвалы и поощрения – наступила тишина в комнате, где сидели взрослые, некоторые даже отвели глаза, и я с ужасом поняла, что совершила что-то совершенно неподходящее. Самая светская из всех тётя Аля нашлась и сказала неискренним тоном, какой я молодец, но мне мой позор был очевиден.

Через три года, в 1956 году, после XX съезда КПСС папа просветил меня.

В 1956 году на XX съезде партии Н. С. Хрущёв прочитал в закрытом кругу доклад о культе личности; текст этого доклада был разослан «закрытым образом» по всем партийным организациям, но о нём сразу же узнала вся страна. Дело было так: мы гуляли с подружками после школы, и вдруг две из них стали между собой шушукаться, я уловила только, что они говорят про Сталина. На мой вопрос, о чём они секретничают, одна из них загадочно ответила: «Спроси у твоего отца!». Действительно, неопубликованный в газетах доклад распространялся на закрытых партсобраниях, а членами партии были чаще папы, чем мамы. Я тут же из сквера побежала домой, не раздеваясь, зашла в комнату родителей, где отец работал за письменным столом и без обиняков обратилась к нему: «Папа, расскажи мне про Сталина!». Он отложил бумаги и ручку, повернулся ко мне и сказал очень просто и понятно: «Знаешь, Сталин был как царь». Для меня, советской школьницы, с понятием царь было связано самое отрицательное представление о власти, произволе, подавлении. Думаю, что лучшего объяснения в моём тогдашнем возрасте никто бы мне не дал. С тех пор я много расспрашивала старших, позже читала о прошлом моей страны, интерес к истории и политике не угасал.

После опубликования статьи «О культе личности и его последствиях» начали чуть-чуть открывать архивы, к сожалению, на короткое время. И тогда отец был вызван в отдел кадров Горного института, где ему показали донос на него, написанный его другом, заведующим кафедрой высшей математики с 1949 до 1955 года, профессором О. В. Сармановым. Я этого «друга семьи» смутно помню, он бывал в нашем доме в моём раннем детстве, был «интеллигентным, приличным человеком». Подробности этой истории я узнала от мамы намного позже, после папиной смерти. По её словам у Сарманова была точка уязвимости: он был гомосексуалистом, за это в СССР сажали в тюрьму. Сарманов не был женат, и он усыновил своего студента – тоже необычайно подозрительный факт. Может быть, именно это сделало возможным оказать на него давление, и он, спасая себя, подписал донос на отца, доцента своей кафедры и личного друга. В доносе утверждалось, что Вержбинский Михаил Львович – агент Израиля, член сионистского заговора и так далее. Тянуло на смертный приговор или как минимум – лагерь на десятки лет. Но «пахан подох» вовремя! Сарманов, видимо, узнал, что отцу показали донос, дружба распалась, а в 1955 году заведующим кафедрой стал другой учёный.



Фото 15. Слева направо - Сарманов, его приёмный сын и мой отец

Последние годы жизни Михаила Львовича протекали не очень счастливо.

Летом 1959 года во время поездки в Крым случилась по сегодняшним меркам не такая уж большая неприятность. Отец с моим братом Глебом поехали на машине из Ленинграда в Симферополь, куда мы с мамой должны были приехать на поезде. По пути в придорожной столовой, где они остановились пообедать, папа забыл куртку. Они вернулись, но куртки и след простыл. В ней были водительские права, документы на машину и – самое чреватое дальнейшими неприятностями – партийный билет. Мы с мамой, как и было задумано, встретились с отцом и братом в Симферополе, но не поехали к морю, в Алупку, а всей семьёй остановились в гостинице. Родители несколько дней ходили по инстанциям, получали временные водительские права и прочие дубликаты документов (может быть, паспорт был тоже украден, я точно не помню), а мы с Глебом скучали в гостинице.

Наконец потерянные документы были заменены временными и мы уехали в Алупку, где нас ждали друзья. В середине отпуска брата Глеба сменил брат Алексей, потом все вместе, родители, Алексей и я, вернулись в Ленинград. Украденные документы так не были найдены, и самым ужасным оказалась потеря партбилета. Отца «прорабатывали» на работе в партийной организации Горного института, утрата партбилета в СССР считалась очень серьёзным проступком, могли исключить из «рядов КПСС», а это означало бы «волчий билет». Выговор с занесением в личное дело считался самым мягким наказанием.



Фото 16. Михаил Львович, 1950 гг.

На этом полоса неприятностей не закончилась. Отец с увлечением рисовал карикатуры на злободневные события в институте для стенгазеты. Эти карикатуры раздражали кое-кого, его предупреждали, но он продолжал в том же духе. Например, под изображением ели в окружении дубов стояла подпись: «Военная кафедра встречает Новый год». В результате Михаила Львовича стали регулярно посылать на недели и даже месяцы преподавать заочникам в провинцию, по моим воспоминаниям – на Север. Он, кандидат наук, десятки лет сотрудник института, преподаватель и учёный, труды которого печатались в журнале в серьёзных научных журналах, уже немолодой человек (отцу было за 50), в этот период стал подолгу жить в общежитиях или провинциальных гостиницах, питаться в скверных столовых. Отец становился всё более и более раздражительным, они с мамой стали часто ссориться, чего раньше не наблюдалось. Я, будучи в переходном возрасте (13–14 лет), со своей стороны подливала масла в огонь, демонстрируя независимость от мнения взрослых буквально во всех вопросах. У Михаила Львовича в это же время наступила полоса профессиональных

неудач. Пишу со слов мамы, с папой об этом мы никогда не говорили. Михаил Львович был талантливым, в молодости – многообещающим учёным. В науке его с ещё довоенных времён занимала одна задача, связанная с простыми числами. Теория чисел не была в XX веке в центре научного интереса; немногие работали в этой области, обсуждений результатов с коллегами было, видимо, крайне мало. Однако папа был верен своей задаче, занимался главным образом только ею, и у него на каких-то этапах были успехи: его работы печатались и получали хорошие отзывы от известных математиков. Было совершенно неясно, есть ли у этой задачи решение. И вот в последние годы жизни отца стало похоже, что попытки решить задачу заходят в тупик. Преемников у Михаила Львовича в этой незавершённой работе не нашлось. Через какое-то время после папиной смерти мама отдала хранившиеся в папином письменном столе бумаги его бывшему ученику из кружка Дворца пионеров, впоследствии профессору матмеха ЛГУ Михаилу Шлёмовичу Бирману. Тот был специалистом в совсем другой области, и похоже на то, что никто не продолжил дело папиной жизни. Когда я начала писать этот текст, то наткнулась в интернете на упоминание о публикации: О ДЕФЕКТЕ ПРОСТОТЫ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА | Вержбинский | Записки Горного института. Дата 2013-2014 гг.

<http://pmi.spmi.ru/index.php/pmi/article/view/8178>

Вначале я была поражена: спустя без малого 60 лет после публикации статьи в 1958 году папина работа вдруг опять стала актуальна! Однако последовало разочарование: видимо, архив выложил в интернет все напечатанные после 1907 года статьи, среди них ещё несколько более ранних работ отца. В конце 2019 года на сайте Санкт-Петербургского математического общества, список членов на 1959 год, была создана страница М. Л. Вержбинского:

<http://www.mathsoc.spb.ru/pers/verzhbinskii/>

Если говорить в связи с этим об ухудшении отношений между родителями, то пока я писала этот текст, мне пришла в голову ещё одна мысль. Мамины книги по искусствоведению («Врубель» 1959 г., «Русское искусство и революция 1905 года» 1960 г., «Искусство и зритель» 1961 г., на вышедшую позже книгу «Передвижники» уже был заключён договор) начали публиковаться как раз в конце 50-х – начале 60-х годов, то есть, в период, когда у папы его научная работа затормозилась. Всплывает в памяти такой эпизод: мы собрались на выходные съездить в пригород, кажется, в Пушкин (Царское село). Уже сели в машину, вдруг родители начинают ссориться, кажется, папа не хочет ехать, а мама настаивает. Звучит фраза: «Я, что ли, шофёр своей жены?». Мне это потому запомнилось, что таких сцен между родителями ранее я не наблюдала.

Мне тяжело писать о последних месяцах жизни отца, они были трагичны. Конец декабря 1961, приближается Новый год. Родители собираются встречать Новый год в своей компании за городом, а я впервые пригласила своих одноклассников – одну подругу (которую в последний момент не пустили её родители) и трёх мальчиков – праздновать у меня. Бабушка и дядя Ваня тоже оставались в городе и праздновали в своей комнате. У отца – плохое настроение, вероятно, и плохое самочувствие, он не хочет ехать за город и праздновать в компании. Это было необычно: родители были всегда вместе на этом празднике и, как правило, в весёлом обществе близких друзей. Мама оставаться в городе не собирается, а папа в своём «упрямстве» (с моей точки зрения) срывает мой первый самостоятельный, без присутствия взрослых праздник. И я помню как сейчас: пришла в «большую комнату» родителей, ту самую, с камином и эркером, где планировалась наша вечеринка, и стала настойчиво давить

на отца: «Вы обещали, что уедете, ты обещал». И он печально сказал мне: «Ты победила...» и действительно уехал с мамой за город. Как прошёл тот Новый год у них, я не знаю, только ранней весной 1962 года отец заболел. Мы с мамой уехали на «зимнюю дачу», как обычно, на выходные (или это были весенние каникулы), а папе нездоровилось, он остался в городе и вызвал на дом нашу участковую. Врач нашла, что у него белки глаз и лицо пожелтели, заподозрила инфекционную желтуху, немедленно вызвала скорую помощь, и его увезли в так называемые Боткинские бараки, инфекционную больницу им. Боткина. Это случилось в последних числах марта. Мама, как только узнала об этом, помчалась в больницу; вход туда был строго запрещён, но она перелезла через ограждения и прорвалась – во всяком случае, к врачам. Более месяца провёл отец в инфекционной больнице, пока не было установлено, что инфекционного гепатита у него нет и причина желтизны другая. Сохранились письма (со штемпелем инфекционного отделения) из больницы маме, такие нежные, с просьбой добиваться у врачей разрешения его посетить. Они у меня в Вене, их больно перечитывать. В Советском Союзе были для теперешнего времени строжайшие правила гигиены, посещение больных инфекционными болезнями было запрещено за редчайшим исключением. Судя по письмам, папу обследовали серьёзно, вот цитата из письма маме: *«Не могу пожаловаться на отсутствие интереса к моему организму: за три недели меня осматривали шесть врачей и один студент, завтра будет седьмой»*. Он писал маме в письмах всякие деловые распоряжения: срочно заплатить партийные взносы через секретаршу кафедры, передать документы и ключи от машины знакомому, отметиться в очереди на покупку новой машины, которую собирались приобрести через год. Упомянул сберегательную книжку. Ощущение было сейчас, как будто я читаю завещание, так как я знаю, что случилось потом. На самом деле отец не падал духом, верил в выздоровление. Обсуждал с мамой все результаты обследования, выбор больницы, куда его должны были направить в связи с отсутствием гепатита. Папу, не отпуская домой, перевезли в Военно-медицинскую Академию, где продолжили обследования уже не в инфекционном отделении. По тогдашним правилам меня как несовершеннолетнюю и в эту больницу не пускали. Детям и подросткам посещение любого стационара (безразлично – инфекционного или нет) было категорически запрещено. Причину желтизны нашли: камни в желчном пузыре; предполагалась операция, и не особенно тяжёлая. Но другие анализы указывали на то, что, кроме камней, у папы серьёзные проблемы. Было подозрение на рак поджелудочной железы, неизлечимый и неоперабельный. Операцию желчного пузыря назначили на середину мая; мама заплатила (нелегально) профессору-хирургу, который должен был её делать. Мама и брат Глеб посещали отца в больнице; другой брат Алексей был в это время в Нарьян-Маре на Крайнем Севере, работал по распределению после окончания Горного института. Я видела отца за два месяца его болезни только один раз, в начале мая. Ему разрешили спуститься в сад Военно-медицинской Академии. Из этого свидания запомнила только одну картину: папа уже в уходит обратно, идёт вверх по лестнице в своё отделение. Я вижу в окнах лестничной клетки его фигуру и лицо в профиль, он, не оборачиваясь, удаляется от меня. Сохранились несколько писем отца и из этой больницы мне и маме. В это время я готовилась перейти в художественную и общеобразовательную школу №190 на базе Мухинского Училища (сейчас это [Художественно-эстетический лицей № 190](#)), в июне собиралась подавать документы и работы – мои рисунки. В письме маме отец высказывает опасение, что мои математические способности в случае поступления не будут развиваться, и сомнения по поводу качества общего образования в школе с художественным уклоном. Он, к счастью, ошибся: школа №190 давала прекрасное образование по всем предметам, а о том, что я не пошла по стопам папы и брата Глеба и не стала математиком, я ни разу в жизни не пожалела. В

письмах лично ко мне папа называет меня баронессой Ниной; в одном из них в шутиливо-вителиевой научной форме отвечает на мой глупейший вопрос, почему нельзя повернуть Землю, стоя на ней. Именно по ассоциации с бароном Мюнхаузеном папа наделил меня титулом баронессы. В письмах маме он упоминает меня почти каждый раз. Иногда так: «Почему Нинка не пишет?». Или: «Обнимаю тебя и **эту**». Один раз в ответ на мною написанную записку: «Спасибо. Только почему ты пишешь так официально: дорогой папа. Почти как любезный папаша». Маму же всегда нежнейше называет Норинькой. Одно письмо начинается так: «Норинька, рыженькая». Или другое: «Норинька! У тебя необыкновенные зелёные глаза — это первое, что я увидел, когда ты меня разбудила.». Вот ещё: «Норинька! Я беспокоюсь – вчера не было от тебя вестей. Почему? Все здоровы? Только пиши правду, прошу тебя.»

Операция желчного пузыря была проведена, камни удалили. Тут версии расходятся: по одной врач показал маме камни и сказал: «К счастью, больше ничего не найдено». По другой – рак поджелудочной железы всё-таки был, его не трогали. Операция была сделана в четверг или пятницу, последующие 19 и 20 мая пришлись на субботу и воскресенье. Профессора в больнице не было, у отца начались осложнения после этой, запланированной и не самой сложной, операции, поднялась температура, он терял сознание и приходил опять в себя, очень мучился. Вероятно, это был перитонит. Со стороны молодого врача, дежурившего в конце недели, и прочего медицинского персонала большого внимания к пациенту не было. Глеб и мама от него не отходили, их сменяла у постели умирающего моя кузина Таня. Мама рассказывала мне, что один раз, снова придя в себя, папа посмотрел на неё и сказал: «Я его видел». Можно интерпретировать как угодно. В то время у него появился уже первый внук, сын Глеба, Алёша Вержбинский, которого папа очень любил и которым гордился. Может быть, имелся в виду этот малыш, а может быть, и нет. Трёх последующих внуков, дочь Глеба Асю и моих дочерей Юлю и Машу, и шести правнуков он уже не застал. (См. примечание****)

Папа скончался 21 мая, в понедельник. Мама была настолько не готова принять этот факт, что, истолковав уход из жизни как очередную потерю сознания, спросила врача: «Может быть, поставить ему банки?». На что врач с иронией (едва ли уместной) ответил: «Ну да, можно». Она со стыдом за себя и раздражением на врача пересказывала мне этот эпизод позже. А брат Глеб, который вместе с мамой пришёл вечером 21 мая к нам домой, сказал со слезами в голосе: «Он был такой маленький...». Я замечала позже, что умирающие животные и люди кажутся маленькими в момент смерти. В выписке из больницы в графе «причина смерти» назван рак поджелудочной железы, что в любом случае не являлось непосредственной причиной. Фатальное осложнение после удаления желчного пузыря в послеоперационные дни было истинной причиной, но таким образом врачи сняли с себя всякую ответственность. О том, как протекает рак поджелудочной железы, я узнала позже. Может быть, мучения, отсутствие поддерживающей терапии и обезболивающих (морфин в Советском Союзе давали очень скупой) были бы ещё более трагическим вариантом, и папа «сэкономил» таким образом месяцы страданий? Был ли у него рак, или фраза врача-хирурга, показавшего маме камни, «К счастью, только это» была правдой? Не знаю.



Фото 17. Могила М. Л. Вержбинского на Кладбище Памяти Жертв Девятого Января в Петербурге, 1990 гг.

ЭПИЛОГ

На этой ноте не хочу заканчивать историю. Пусть эпилогом будет образ моего отца, Михаила Львовича Вержбинского, каким я его вижу все эти годы после смерти. Пусть субъективно, но я ведь не пишу статью в Википедию. Он был блестящей личностью, одарённым во многих областях человеком, эмоциональным, творческим. Умеющим любить и умеющим это показать своим любимым. В нём была некая эlegantность, прекрасный вкус, касалось ли это искусства или просто манеры одеваться. Не боюсь сказать: в нём чувствовалась порода. У него были и тяжелые стороны характера, он мог быть необычайно вспыльчив, неожиданно взрываться. Это никогда не проявлялось, однако, в непристойной ругани и, тем более, рукоприкладстве (часто присутствующих в русской среде, для него же – немыслимое поведение). Однако я помню сцену, когда папа, по какому уже не знаю поводу, прыгает на своих же брошенных на пол очках и кричит: «К чёрту, к чёрту, к дьяволу!!!». Типичный холерик, и эксцентрик к тому же. Я его никогда не боялась, даже в таких проявлениях. Родители любили французские фильмы, их начали показывать в Советском Союзе в 50-е годы, после смерти Сталина. Любимым фильмом родителей был «Мой дядя» (в оригинале "Mon oncle"), режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли Жак Тати (Jacques Tati), 1958 год. Такие фильмы выпускали на экран либо совсем ненадолго, либо в рамках фестивалей. Я его тогда не смотрела, но запомнился восторг родителей. И вот уже в Вене в 2015 году я смогла посмотреть этот фильм, да ещё в кино под открытым небом в саду Нижнего Бельведера. Влюбилась в фильм, в персонаж мсье Юло, в автора и исполнителя Тати. Он, кстати, был русским эмигрантом во Франции, его фамилия на самом деле Татищев. И было у меня чувство, что протянулась ко мне ниточка от папы, как будто он поделился со мной любимым фильмом.

Одним из первых портретов с натуры, который я несколько сеансов рисовала на уроках с моей учительницей рисования Евгенией Ерофеевной Богдановой, был портрет отца. Рисунок карандашом показывает его печальным, даже потухшим, не таким, каким я его помню. Он был сделан перед самой болезнью в начале 1962 года и мог бы послужить нам предостережением. Так кажется всегда задним числом, а в то время никаких предчувствий ни у кого в семье не было. Из-за продолжительных сеансов работы с натуры я так хорошо

запомнила лицо отца, что, когда писала двойной портрет – он в свои пятьдесят два (старше стать было не дано) и я, достигнувшая в 1999 того же возраста — мне было не трудно передать сходство на картине.



Фото 18. «Отец и дочь: 52», Нина Вержбинская-Рабинович, бумага, акварель, 1999

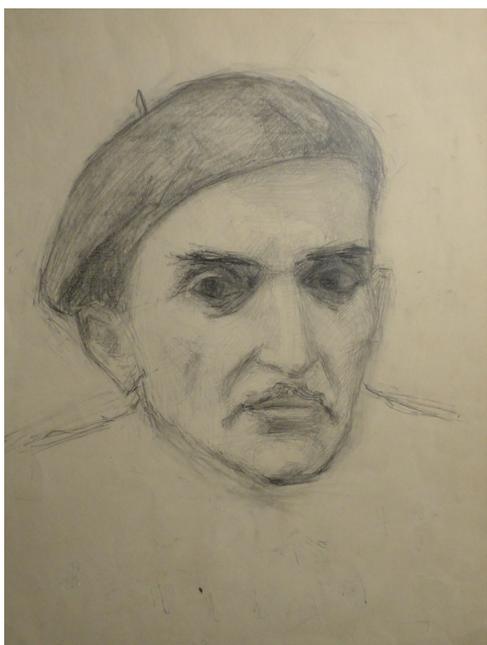


Фото 19. «Портрет отца», Нина Вержбинская, бумага, карандаш, 1961-62гг.

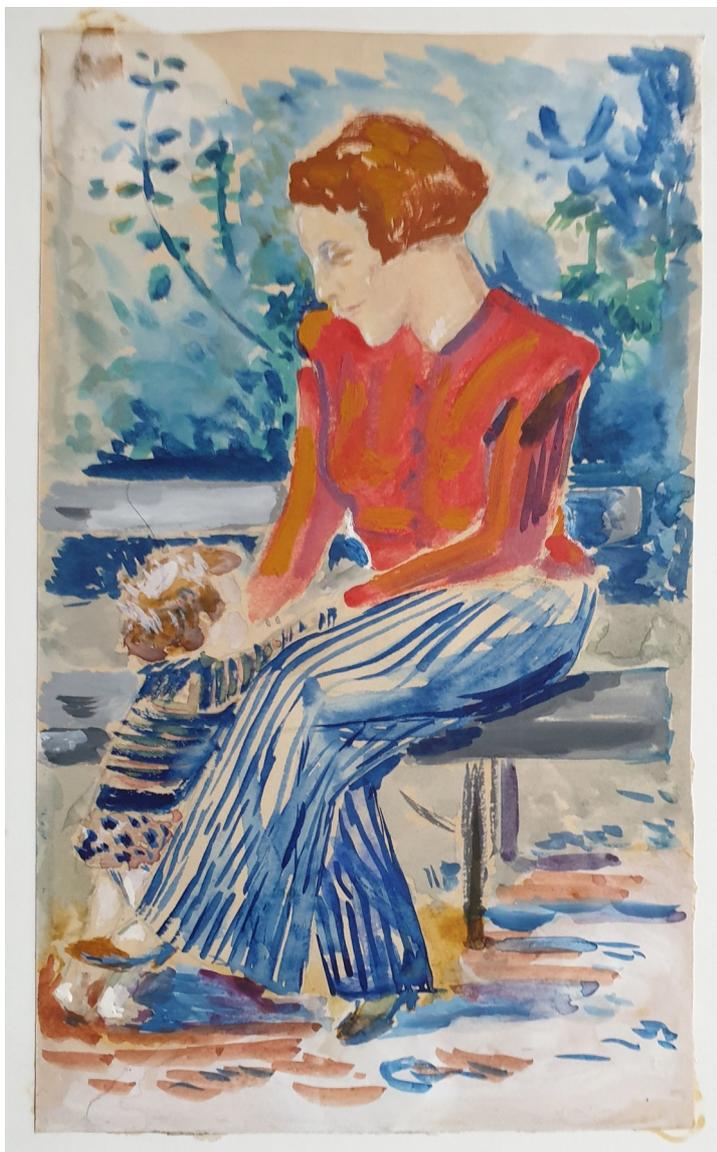
Картины и фотографии Михаила Львовича Вержбинского 1950-х гг



«Автопортрет в виде пирата», бумага, акварель, 1955 г



«Портрет Норы», бумага, тушь, белила, 1950 гг.



«Нора и Нина», бумага, гуашь, 1950 г.



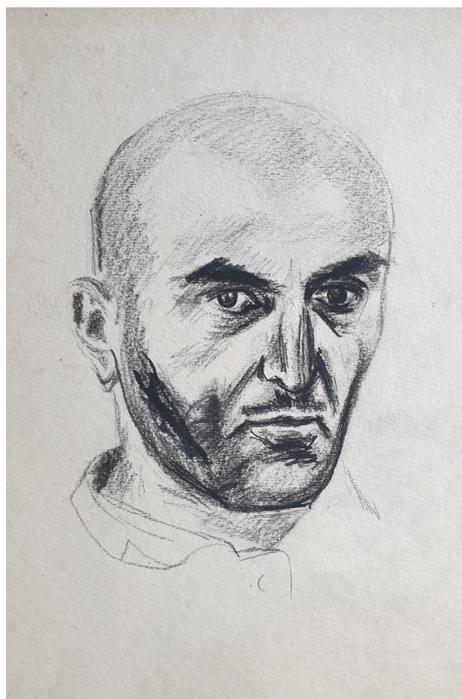
«Норочка приходит домой», бумага, цветные карандаши, 1950 г.



«Свинья и бельё. Рыбачий посёлок», бумага, акварель, 1950 гг.



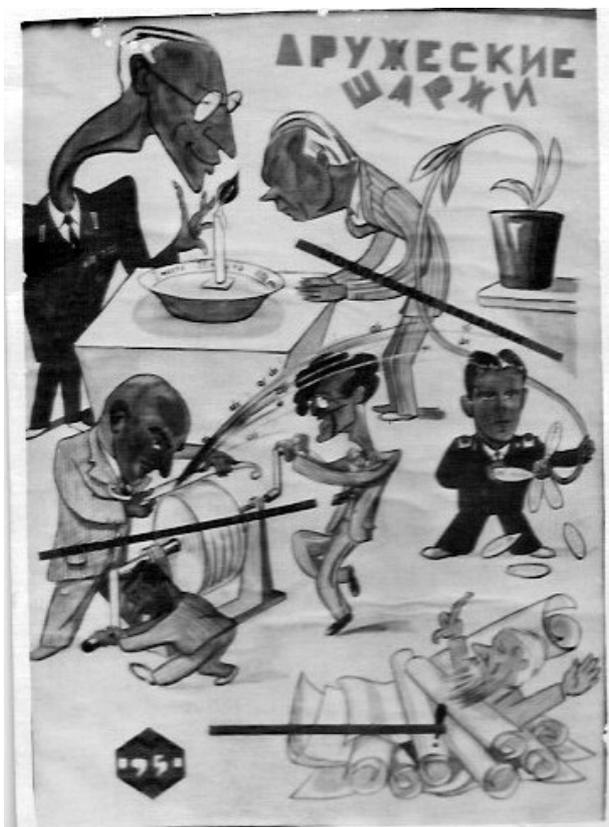
«Васильевский Остров. Угол Большого пр. и 4-ой линии», бумага, гуашь, 1950 гг.



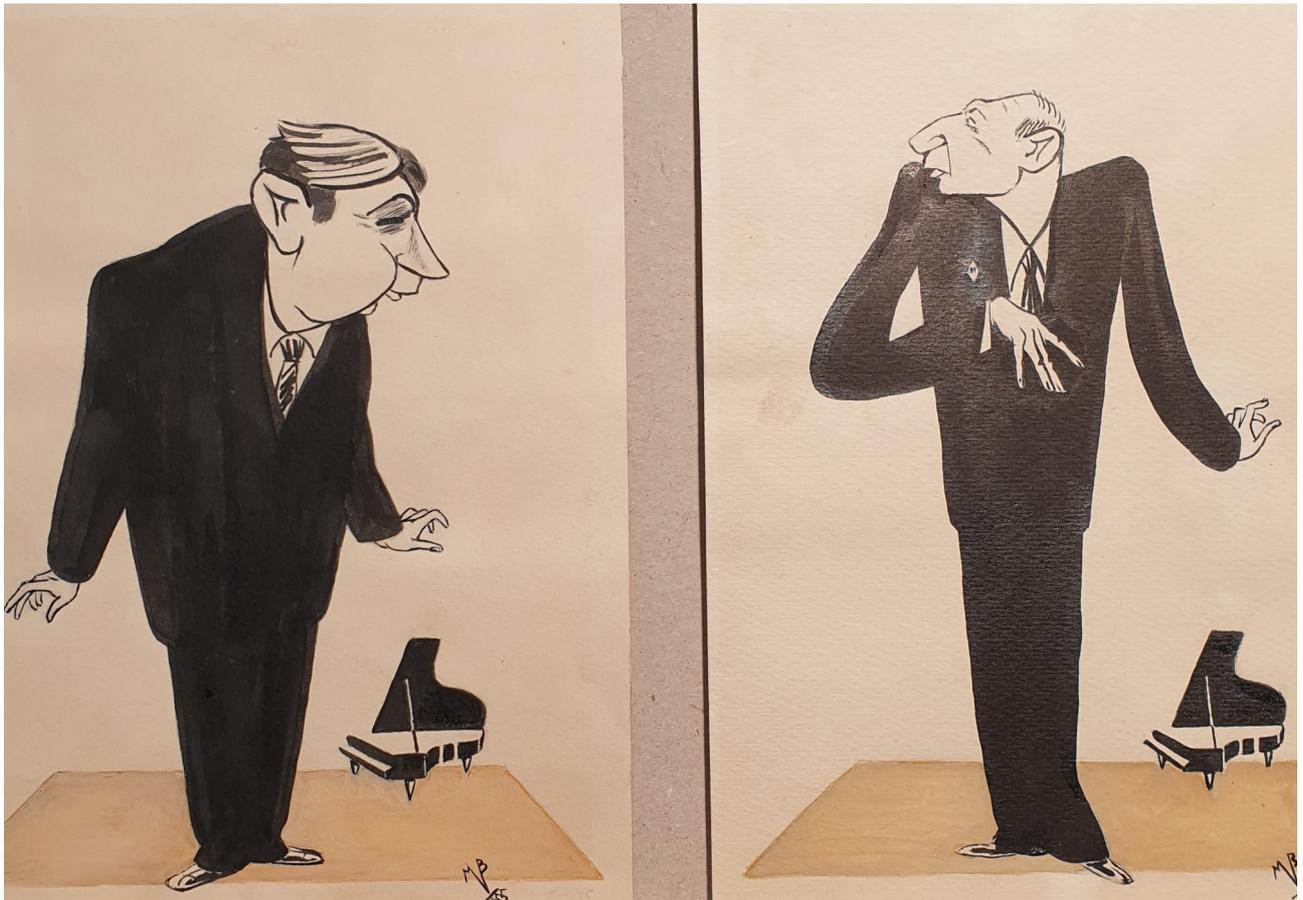
«Автопортрет», бумага, уголь, 1950 г.



«Автопортрет в шляпе», бумага, тушь, 1950 г.



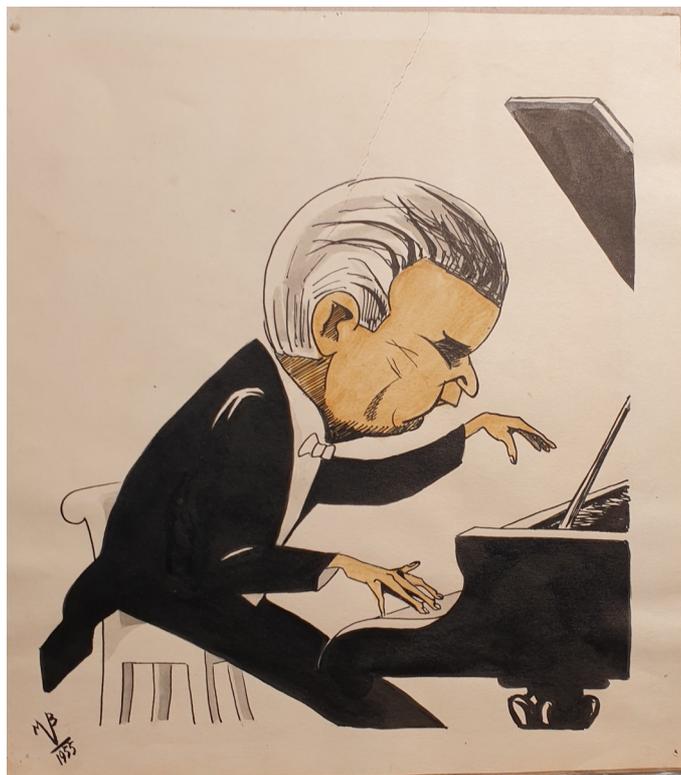
«Дружеские шаржи»
для стенгазеты Горного института, 1950 г.



«Музыковеды Ю. Я. Вайнкоп (слева) и А. Н. Должанский (справа)», тушь, 1955 г.



«Пианист Святослав Рихтер», тушь, 1955 г.



«Пианист профессор Павел Серебряков», тушь, 1955 г.



«Дирижёр Курт Зандерлинг», тушь, 1955 г.

«Дирижёр Франц Конвичный»,
бумага, тушь, 1955 г.



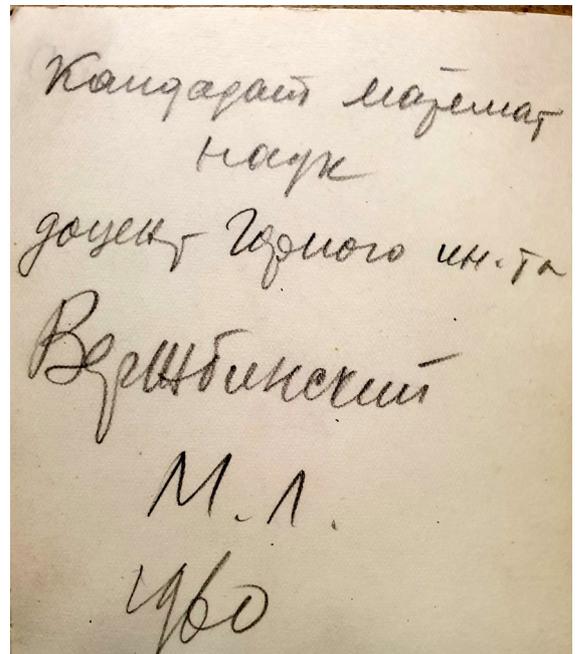
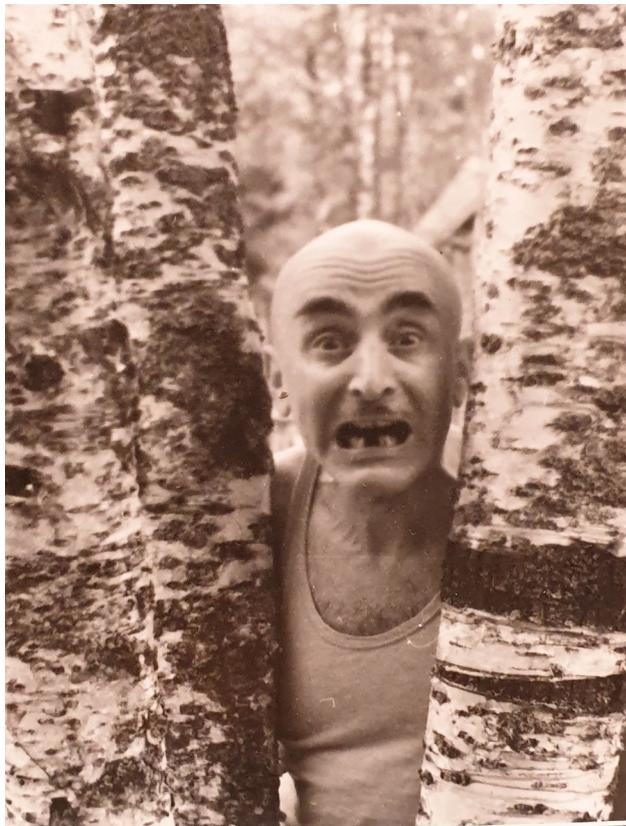
«Дирижёр Евгений Мравинский»,
бумага, тушь, 1955 г.



Серия фотографий «Делаю рожи из собственного материала»



«На метле»



Обратная сторона фотографии

«Кандидат математических наук, доцент Горного института Вержбинский М. Л.», 1960 г.



«Учёный высасывает идеи из собственного пальца»



«В дамской шляпке»



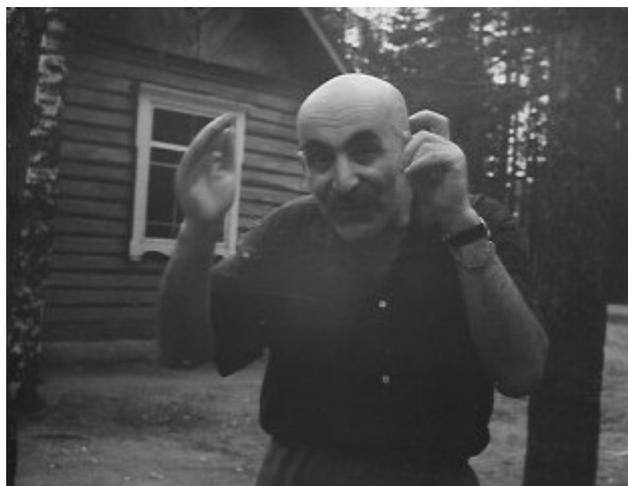
«С сигаретой»



«Оратор»



«Мрачный Михаил»



«Воот такой маленький»



«Дядя Вася и отец, охотник и собака», 1955 г.

. Примечания

Стр. 5* НЭП - Новая Экономическая Политика, которую ввели после лет «военного коммунизма», допускавшая частную инициативу и предпринимательство, что помогло разоренной стране кое-как встать на ноги.

Стр. 7** Gomberg-Verzhbinskaia and Rabinowich Collection, MSE/REE 0013, Department of Rare Books and Special Collections, Hesburgh Libraries of Notre Dame.
<https://archivesspace.library.nd.edu/repositories/3/resources/1944>

Стр. 15*** Начну по порядку: первоначально у Сталина были иллюзии, что Израиль станет социалистической страной — первые переселенцы из России с их кибуцами, сионистской ориентацией тогда не рассматривались ещё как идеологические враги Советского Союза. Когда же в мае 1948 года Израиль сформировался как государство и его ориентация на США стала очевидна, все живущие в СССР евреи превратились для сталинского режима в потенциальных предателей и «врагов народа». Антисемитизм, никогда не угасавший в стране, вышел из моды во время и после революции в силу активного участия еврейского населения в «построении нового мира». Он во время холодной войны не только вспыхнул вновь, но стал государственной политикой. Это было не первое сталинское гонение на один конкретный народ «в братской семье» многонационального государства. После победы над фашизмом все чеченцы, ингуши и крымские татары поголовно были объявлены коллаборационистами и высланы в степи Казахстана. Когда Греция в 1952 году вступила в НАТО, в одночасье все греки, поколениями жившие в России, превратились во врагов народа. Их высылали в «места отдалённые» прямо с места работы, даже не давая вернуться домой. Ведь у всех советских граждан в паспорте в пятой графе после имени, отчества и фамилии и гражданства стояла НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: русский, грек, украинец, грузин, еврей. Причём последнее не имело никакого отношения к религии. По нацистскому принципу «крови, расы» определялось еврейка/еврей ли данный человек вне зависимости от того, был ли он иудеем, православным, мусульманином, католиком, протестантом или буддистом. Такова была позиция «отца народов» Сталина, про которого В. И. Ленин в эмиграции в 1913 году писал М. Горькому, обеспокоенному поднимающимся национализмом: «Тут у нас засел один чудесный грузин и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и прочие материалы». Имелась в виду теоретическая работа И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос», написанная в Вене и опубликованная в 1913 году. Сталин был после Октября народным комиссаром по делам национальностей.

Одним из последних страшных процессов сталинского времени стало «Дело врачей». По доносу 1949 года постепенно готовилось так называемое «дело врачей», сионистский «заговор кремлёвских врачей», собиравшихся извести Центральный комитет и правительство. В январе 1953 года появилось официальное сообщение об аресте врачей-заговорщиков. Их всех посадили, пытали, добиваясь «признания» (один врач скончался от побоев), об этом заговоре трубили все газеты и радио. «Врачи-вредители» за редким исключением были евреями, этот факт постоянно подчёркивался. До приговора дело не дошло: 5 марта 1953 года, к счастью, «сдох пахан» по выражению тогдашних инакомыслящих. Одним из первых знаков прекращения террора было освобождение и реабилитация кремлёвских врачей 2 апреля 1953 года, через месяц после смерти И. В. Сталина.

Стр.20 **** Кроме первого внука, родившегося в 1961 году сына Глеба Алёши Вержбинского, которого Михаил Львович застал, уже после его смерти появились три внучки. В 1969 году родилась дочь Глеба Ася Вержбинская, в 1970 году моя старшая дочь Юля Рабинович и в 1981, уже в Вене — младшая дочь, Маша Рабинович. И правнуки уже есть: в Сан-Франциско в семье Алёши Вержбинского родились Илья, Даша и Марк. В Вене растёт дочь Юли Наима Рабинович. Ася Вержбинская уже давно живет в Англии, последние годы в Лондоне и приняла британское гражданство. Её дети, Пабло и Франциско, говорят на трёх языках: русском, английском и испанском, так как их отец мексиканец по происхождению. В России, точнее в Санкт-Петербурге, из всех родных Михаила Львовича живет только его племянница, дочь моей тёти Али, Татьяна Скраган. Я с мужем, матерью Элеонорой и тогда семилетней дочерью Юлей эмигрировали в Австрию в 1977 году и с тех пор мы все живём в Вене, тут родились моя младшая дочь Маша и внучка Наима. Моя мать Элеонора умерла в 2002 году и похоронена на венском Центральном кладбище. Мой брат по отцу Глеб с женой, сыном Алёшей и дочерью Асей эмигрировали через год после нас, в 1978 году в Калифорнию. Сейчас Глеб с женой живут в Беркли, а семья Алёши в Сан-Франциско. Мой брат по матери Алексей Махмудов эмигрировал в США в 1984 году с женой и сыном Вадимом, он живёт в Нью Йорке.

Нина Вержбинская-Рабинович
Вена, 2019 г.